

Сергей Сергеев

СТАЛЬНОЙ ПАНЦИРЬ

Феномен Константина Леонтьева.

К 170-летию со дня рождения

МЕНЯ уже много лет занимает удивительный феномен совершенно очевидного отторжения Константина Николаевича Леонтьева его собственной родной культурой. Легче всего отделаться от этого факта сакраментальным: нет пророка в своем отечестве. Когда-то ответственность за это можно было возложить на «либеральный террор», позднее — свалить на советскую власть... В конце 80-х — начале 90-х я искренне думал, что «неоаппаратники» специально «затирают» неудобного им во всех отношениях автора «Среднего европейца».

Константина Николаевича уважают очень многие, но *любят* действительно единицы. Да, он, без всякого сомнения, *классик*. Но я не могу не согласиться и с моим старшим другом, известным скульптором Петром Павловичем Чусовитиным, утверждающим, что Леонтьев — маргинальное явление в русской культуре. В общем, какой-то странный, загадочный, *маргинальный классик*... В чем причина этого парадокса?

Первое, что сразу же приходит в голову, — слишком резкое несоответствие леонтьевских идей гуманизму, владеющему не только сознанием, но и, кажется, даже бессознательным нашей интеллигенции от Радищева до Сахарова. Государственная мощь, духовная дисциплина, воинские доблести, восплаемые и культивируемые Константином Николаевичем, — кошмары типичного русского интеллигента, вызывающие у него уже более трех столетий прямо-таки сартровскую «тошноту». Реализм мыслителя в отношении «человеческого, слишком человеческого», его сокрушительная критика благодетельного и всеразрешающего прогресса (из наших классиков, пожалуй, только Боратынский в силах здесь с ним соперничать) способны напроцедить лишнего современному индивиду интеллектуального и душевного покоя. «Пища крута», — как сказал сам Константин Николаевич. «Леонтьев выглядит убедительнее, но если с ним согласиться, то жить не захочется», — с замечательной простотой передала мне свои впечатления от издученного его спора Леонтьева и Достоевского одна неглупая одиннадцатиклассница. Лучше не скажешь...

Но в конце концов гуманизм — явление, привнесенное к нам извне. Главный же корень идейного изгойства мыслителя, которого Лев Толстой считал стоявшим головой выше всех русских философов, произрастает непосредственно из национальной почвы. Есть и в идеях, и в самой ментальности Леонтьева что-то глубоко нерусское — об этом еще в начале XX века пронизательно писали Бердяев и Сергей Булгаков. Какие бы блестящие филиппики ни выходили из под его пера, сколько бы ни восхищался Константин Николаевич красочностью Азии, он оставался истинным европейцем, европейцем до кончиков ногтей. И цену подлинной европейской культуре он хорошо знал.

Весьма характерно, что творчество Леонтьева в нашей литературе решительно стоит особняком, а в европейских — имеет многочисленные параллели. Сравнение с Ницше стало уже банальностью, не перестающей, однако, удивлять близостью исходных позиций русского и германского мыслителей, никогда даже не слышавших друг о друге. Вполне очевидно переклика и с французскими католическими неоромантиками конца XIX века — Барбе д'Орville, Вилье де Лиль-Аданом, Гюисмансом, Леонам Блуа... Семен Франк вспоминал в этой связи Бодлера и Ибсена. Иваск подобрал еще более экзотические аналогии: Гобино и Донно Кортес. Карцов называл Константином Николаевича «русским Флобером». Действительно, «леонтьевским» афоризмам автора «Госпожи Бовари» несть чис-

ла: «эстетика есть истина», «масса всегда состоит из идиотов», «я ненавижу демократию»...

А вот несколько параллелей, обнаруженных лично мной. Честертон в «Ортодоксии» (1909) отмечает, что «христианству всегда была присуща здоровая ненависть к розовому» (как не вспомнить леонтьевские инвективы против «розового христианства» Толстого и Достоевского). Жорж Бизе восклицает в одном из писем: «Ваш прогресс, неизбежный, неумолимый, убивает искусство... Общества, наиболее зараженные суевериями, были великими двигателями в области искусства... Как музыкант, я объявляю вам, что если вы уничтожите адюльтер, фанатизм, преступность, заблуждения, сверхъестественное, — не будет никакой возможности написать ни одной ноты». Если бы не «музыкант» и не «ноты», легко обмануться и принять сей текст за фрагмент неизвестного письма автора «Среднего европейца»...

Перенесемся из царства муз в политическую жизнь Европы 1920–1930-х гг. Когда Муссолини попросили в одной фразе выразить смысл фашизма, он ответил: «Мы против удобной жизни». Пусть не всю леонтьевскую философию, но одну из ее важных сторон эта сентенция выражает очень точно. Вообще по стилю своему (культ силы и войны, антилиберализм, активизм) Леонтьев более всего напоминает лидеров итальянского фашизма, правда, скорее д'Аннунцио, чем Муссолини.

Примеры можно множить и множить... Но и так очевидно: Леонтьев — явление именно европейской культуры, возникшее в самом авангарде ее движения, на полшага опережая самых смелых его разведчиков. Таких европейцев, как Константин Николаевич, у нас можно пересчитать по пальцам. Конечно, какие-нибудь пыпины, стасюлевины, лавровы были гораздо более образованными, чем он. Но одно дело — книжки, другое — жизнь. Леонтьев — *органический* европейец, каким-то чудом впитавший века западной культурной работы не в сознание только, но, кажется, в самую кровь. Это — *дар, природа*, а не приобретение ума. Перефразируя Бердяева и Петра Перцова, я бы назвал Леонтьева романско-католическим типом на русской почве. Иными словами, он принадлежит к направлению европейской мысли, утверждавшему как основу общественного бытия *иерархизм и аристократизм*.

Иерархический принцип для Леонтьева гораздо важнее монархического. «Сами сословия или, точнее, сама *неравноправность* людей и классов важнее для государства, чем *монархия*», — объясняет он. — «Сословная монархия, конечно, лучше и тверже аристократической республике, но аристократическая республика все-таки *надежнее* эгалитарной монархии...» Не очень много мы найдем в его трудах рассуждений о сущности монархической государственности, зато более чем достаточно — о роли родовитого дворянства и о неких харизматических «вождях», которые будут «властвовать беззастенчиво» и в которых надо «верить». Ни о каком императоре, короле или царе он не говорит с таким воодушевлением, как о Бисмарке и Скобелеве. Гибель сословности есть гибель культуры — вот основной тезис леонтьевской социальной философии. В противоположность основному направлению русской литературы XIX века с ее «народопоклонством», с ее «униженными и оскорбленными», Константин Николаевич проповедовал, что «молодой, красивый,



Константин Леонтьев.

храбрый, знатный и богатый воин... это вечный и лучший идеал человека в земной жизни. Поэт и монах — вот только кто может равняться с воином». Соответствие своему идеалу в отечественной словесности он находил только в двух толстовских персонажах — Андрее Болконском и Алексее Вронском. Яркие, сильные личности, умеющие повелевать «массой» — главный столп государственного здания: «...Я за православную Родину меньше буду бояться с такими... людьми, как Скобелев, Лермонтов, Потемкин Таврический, чем с такими... как... Акакий Акакиевич и даже Максим Максимыч...»

Что такое аристократизм в метафизическом плане? Это — *форма*. Чем оформленнее явление, чем строже его границы, тем оно благороднее. Именно яркость и четкость формы создали неотразимое обаяние романо-германской цивилизации. Естественно, что у Леонтьева категория формы является ключевой: «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться... Страстная идея ищет всегда выразительной формы». С этой точки зрения Россия казалась Константину Николаевичу страной, еще не нашедшей своего неповторимого стиля и, следовательно, пока еще не могущей претендовать на статус особого культурно-исторического типа. Леонтьевские требования к оригинальности были немалыми: «...Мы желали бы, чтобы Россия ото всей Западной Европы отличалась настолько, насколько Греко-Римский мир отличался от азиатских и африканских государств древней истории или наоборот». С высоты такой задачи непонятно, почему мыслитель «готов был ненавидеть русский ум и русский вкус за недостаток творчества и стиля», почему он горько жаловался, что «до сих пор, кажется, в истории не было еще народа — *менее творческого, чем мы*... Мы сами, люди русские, действительно весьма оригинальны психическим темпераментом нашим, но никогда ничего действительно оригинального, *поразительно-примерного вне себя создать до сих пор не могли*».

Нужно ли еще объяснять причины леонтьевского одиночества? Россия — страна антиаристократическая еще в большей мере, чем антилиберальная (кстати, а нет ли между аристократизмом и либерализмом, при всей их внешней несхожести, некой генетической связи?). Русские — природные демократы (но не либералы

— «дьявольская разница!»). Об этом писал как раз в связи с нашим героем Бердяев, но есть авторитеты и посильней, как будто заранее ответившие будущему идеологу русского иерархизма, пребывавшему тогда еще в самом нежном возрасте, и предсказавшие тщетность всех его усилий. Хомяков: «...Я знаю, что даже многие из моих соотечественников желали бы видеть в нас начала аристократические и гордость германскую... Но чуждая стихия не срастается с духовным складом славянским. Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих семей Европы... Зародыш будущей жизни мировой — не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, труженик и разносторонне...» Пушкин: «Освобождение Европы придет из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни презирают ее, другие ненавидят, третьи из выгоды, тщеславия и т.д. В России ничего подобного. В нее не верят».

Сословность в России — не чета западной — была искусственным созданием самодержавия, а не органическим творчеством нации. Леонтьев, между прочим, это прекрасно понимал, но думал, что «эта *особого рода* искусственность *естественна* для России». Я уже не говорю о том, что аристократизм подразумевает такое грешное чувство, как гордыня. Русский смиренный демократизм гораздо ближе к евангельским заветам, и потому не большие ли христиане Акакий Акакиевич и Максим Максимыч, чем Вронский и Печорин?

Глядя на отечество европейскими глазами, Леонтьев просматривал его подлинное своеобразие. Чая узреть в нем новые, небывалые национальные формы культуры и жизни, он не заметил, что Россия — *стихия*, а не упорядоченная система. Что ее сущность не видна «горлому взору иноплемennomu» за носимыми ветром белыми клубами метели, она лишь «сквозит и тайно светит» между ними. Станным образом Константин Николаевич не понимал, что самобытность России как раз в ее бесформенности, в фатальной неспособности к формотворчеству, в постоянном перенимании и приспособлении чужих обличий для хотя бы маломальского укрощения «хаоса родимого». Особенность русской цивилизации — перманентный псевдоморфоз, начиная с X, а, может, и с IX века. Но разве это

не оригинально? Тем более что плоды нашего псевдоморфоза давно уже признаны всем миром за одну из величайших культурных ценностей. Леонтьев был слишком европейцем, чтобы понять и принять это. Однако другой великий европейец, Гете, как-то заметил, что во всякой форме, даже самой прочувствованной, есть что-то неистинное...

Замечательной иллюстрацией драмы Константина Николаевича может служить судьба его литературного любимца Андрея Болконского. Князь Андрей, как и Леонтьев, — фаустовский типаж: аристократ, рыцарь, интеллектуал — тонет в русском тесте. Ему нигде нет места — ни в русском мире, ни на русской войне он не находит серьезного дела. Как только у него появляется возможность совершить подвиг, зловещая рука автора-народолюбца тут же посылает в него пулю или ядро. Болконский, в сущности, никому не нужен, его все уважают, но никто не любит. Ему просто ничего другого не остается, как умереть. Он не «герой романа» России, она любит других: старую бабу Кутузова, смиренного Каратаева, расхлебного Тушина, вечно ничего не понимающего Пьера, умных не «умом ума, а умом сердца» Николая и Наташу... Они бесформенны и потому причастны русской стихии, выталкивающей из себя слишком «твердых» Болконских и Леонтьевых.

Но неужели Россия держится лишь на «смирном типе», а «хищный» ей вовсе не нужен? Нет, конечно. Прав Леонтьев, отстаивая необходимость своего и князя Андрея бытия: «...С одними этими только твердыми в скромном долге людьми далеко все-таки не уйдешь! А нужны для великих дел сверх таких людей еще и люди инициативы, люди сильного воображения, люди *престижа* и даже люди «хищные». Да, конечно, основа России — тушины и каратаевы. Но смогли бы они победить Наполеона без Ржевских, Давыдовых, Кульневых, Фигнеров? Позволительно усомниться... Да и исторический Кутузов был не таким уж «смирным», каким его изобразило гениально-тенденциозное перо Толстого. Как ни прекрасна и величественна русская стихия, она без европейского оформления останется бесплодным или даже разрушительным буряном. В одном из писем Леонтьев говорит: «Смолоду... я по идеалу и по вкусу был европейцем... а по действиям — русская дурная натура; после 30 стал вырабатываться на оборот, т.е. старался утвердить в себе по мере сил западную поддержку и восточные идеалы...» Этот автопортрет может служить образцом представителя русской элиты, которому по силам сражаться на равных с таким сильным врагом, как западный аристократ.

Обрушиваясь на проповедь Достоевским «русской всеотзывчивости» (реальность коей он, кстати, не отрицал), Леонтьев не осознавал, что сам давно является ее верным и послушным орудием. У «всеотзывчивости» этой много очевидных минусов — уж очень часто она напоминает бескорыстную проституцию. Но только благодаря ей Россия могла получать необходимые для развития «европейские дрожжи» в виде узкого слоя *русских европейцев*, создавших высокую культуру и сложную государственную машину Российской империи. Судьба людей этого слоя, к которому принадлежал и наш герой, глубоко трагична — они никогда не чувствовали себя вполне дома на Родине, слишком вжившись в свой перевоплощения. Потом этот слой был сметен возмущившейся русской бесформенной стихией... Но время показало: без аристократии *русских европейцев* Россия существовать не может.

Да, Леонтьев никогда не станет «ядром» нашей культуры. «Ядро» — Достоевский и Толстой, Марей и Каратаев. Но для сохранения «ядра» нужен стальной болконско-леонтьевский панцирь.

Леонтьев
Константин
Николаевич

25.01.2001